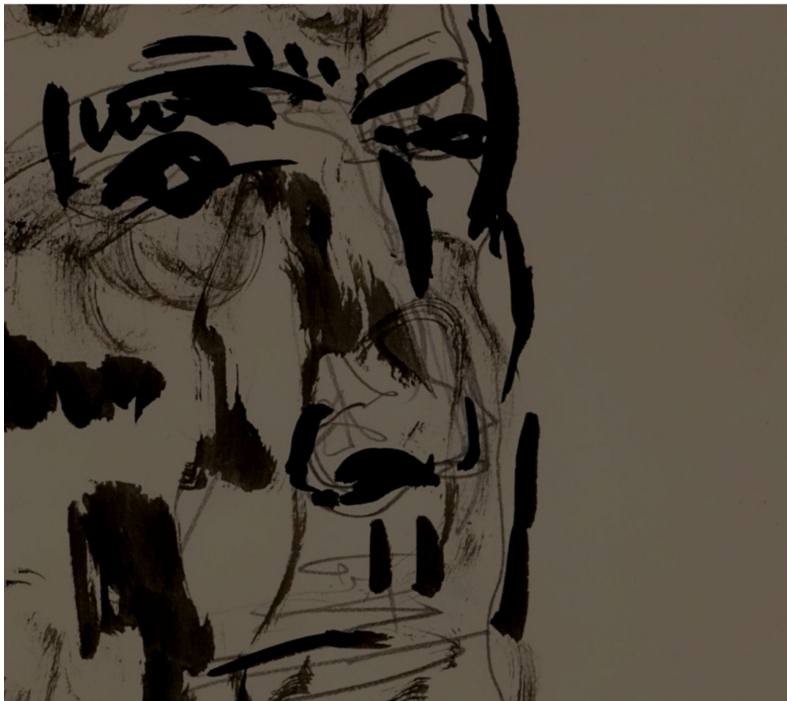


философская повесть



А. ВИНКАЛЬ

НАРЕЧЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКОМ

16+

А. Винкаль

Наречение человеком

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=66051133

SelfPub; 2022

Аннотация

«Tabula rasa!» – гласит латинское крылатое выражение, что в переводе означает «с чистого листа». Равным образом и настоящее повествование возвращает читателя к абсолютному началу; отбросив всё, что было в памяти прежде, оно подготавливает его к процессу погружения в источник собственного происхождения, к уяснению значения человеческой личности в мире как явления первостепенного и несомненного, индивидуального и неповторимого.

«Наречение человеком» – произведение, вобравшее в себя элементы как художественной, так и прикладной литературы, затрагивает самые насущные вопросы: причины, цели и ценности жизни.

Содержание

Вступительное слово	4
Глава 1. Пробуждение	7
Глава 2. На дне	9
Глава 3. Приговор	12
Глава 4. Обет молчания	19
Глава 5. Искушение	22
Глава 6. Нарыв	28
Глава 7. Родная кровь (эпизод из предыдущей главы)	33
Глава 8. По образу	35
Глава 9. Прибежище	41
Глава 10. Язык молчания	47
Глава 11. Со дна	51
Примечания	59

А. Винкаль

Наречение человеком

Вступительное слово

Стоит начать с того, что данное повествование ни в каком случае нельзя рассматривать с художественной точки зрения. Будь воля автора, он с удовольствием бы выкинул за ненадобностью добрую половину произведения – и гроша ломаного не стоит этот литературный ширпотреб, нужный здесь лишь для того, чтобы заинтересовать необразованного читателя, подготовить его к действительно важному процессу: погружению в себя самого, в источник своего происхождения и, как следствие, уяснению действительного значения человеческой личности в мире как явления первостепенного и несомненного. Похождения главного героя играют малую роль, служат, в первую очередь, для более понятного изложения главной мысли неосведомлённому в вопросах философии человеку, потому в повести представлено немало метафор и сюрреалистических аллегорий, дабы заарканить читательский интерес. А философия занимает в «Наречении человеком» центральное место. И неспроста.

Философия – это и притча, и эксперимент. Философия учит и наставляет. В то же время философия не уверена в

своём знании, потому она только пробует учить, равно как и пробует наставлять. Так обстоит дело и с «Наречением...». Цель повествования – научить тому, что неизвестно, относительно чего философия может строить одни догадки и предположения. И одной из таких догадок представляется нам учение о смысле жизни человека, вернее, о *причинах* его бытия.

Извечный вопрос о смысле (цели, причине, ценности – вот что подразумевается) человеческого существования^[1] вот уже многие столетия будоражит пытливые умы, он прост и насущен, как кусок хлеба, в котором нуждается абсолютно каждый, и между тем сложен и не доступен человеческому осмыслению. Поиск ответа идёт в двух направлениях: чувственном (интуиция, переживание, откровение, чувство) и рациональном (разум, рассудок). Однако рационализм, как правило, опровергает первое, а иррационализм – второе, и каждый из них провозглашает истину своей неприкосновенной собственностью. А вопрос всё так же остаётся нерешённым. Тогда, быть может, дело в неправильной постановке вопроса? Отсюда могут проистекать и неверные трактовки, и ложные ответы. Что ж, предположим, это так. В таком случае позволим главному герою – несомненно, философу, который как нельзя кстати появляется в нашем рассуждении, – опрокинуть этот вопрос с ног на голову, а после решить его так, как тот посчитает нужным: всеми возможными путями, рациональными и нет.

Героем повествования выступит болезненно бледный, с пожелтевшим от несчастья лицом, с поседевшим от тревоги волосом человек двадцати-двадцати пяти лет. Глаза его впалые, нос острый, скулы точёные. Вся прошедшая жизнь стёрта из его памяти. Он наг; всё, что осталось при нём, – это жалкая тряпка, накинутая поверх костлявых гениталий. Как он жалок на вид! Так оставим его, бросим навеки. Скинем во тьму, на самое дно бездны – там убогому место. И когда человек очнётся...

Глава 1. Пробуждение

Открыв глаза, он решил, что ослеп: абсолютно непроглядная тьма окружала его со всех сторон плотной стеной. Человек не знал, был ли он прежде зрячим. Возможно, солнце скрыто от его взора с самого рождения.

Солнце... Смутное воспоминание мелькнуло в его голове, но в ту же минуту померкло, и человек забылся, распластавшись на холодной земле.

Холод разбудил несчастного. Он пробирал до мозга костей, пробуждал к жизни каждое нервное окончание, призывая человеческое тело очнуться от продолжительного забвения. Несовместимые, казалось, вещи вступают порой в дружественный союз: холод и жизнь – что может быть абсурднее? Веки человека приподнялись, обнажив красные мертвенные глаза. Кругом сгущался мрак. В этом чуждом месте, где оказался человек, царила извечная ночь.

Дрожащие руки упёрлись в землю и сделали попытку сдвинуть окоченевшее тело с места. Тело не подчинилось. Зато подчинился рассудок. Мысли зашевелились и завертелись, словно шестерёнки некоего невидимого механизма, восстанавливая в памяти отдельные фрагменты и образы подёрнутого дымкой забвения прошлого. Человек прислушался. В этот миг внимание его обратилось лишь к одной действительно волнующей его точке окружающего простран-

ства: закоченелый комочек плоти, с ужасом озирающийся по сторонам, – он сам.

Глава 2. На дне

– Что есть я? Я чувствую холод. В первую очередь, я есть чувство. Я мыслю чувство, а значит, я есть мысль.

Мелкий сор, прежде лежавший у самой земли, взмыл кверху от лёгкого движения руки человека и заволок тому глаза. Растирая веки, кашляя и отплёвываясь, он вдруг сквозь слезы разглядел смутные, но уже мало-мальски различимые очертания голых отвесных стен, окружавших его. «Так я не слеп!» – воскликнул человек и стал беспокойно озираться: мир заиграл красками. В действительности, глаза его начали свыкаться с темнотой.

Теперь явилась возможность изучить и своё окружение. Как ранее было сказано, со всех сторон человека обступали высокие, если не сказать бесконечные, поскольку они тянулись куда-то ввысь, в недоступную человеческому глазу высоту, стены малоизвестной горной породы. Они замыкались в сплошной круг, в центре которого оказался человек. Ни звук, ни луч света – ничто не могло проникнуть сюда, на дно этой глубокой безжизненной пропасти.

Чувство болезненного страха возобладало над несчастным: вскочив на ноги и прильнув лицом к холодной поверхности, он ухватился руками за каменные выступы и стал взбираться по ним наверх. Камень сыпался под яростным напором рук. Превозмогая слабость и боль, человек лез всё вы-

ше, тяжело дыша и бормоча под нос что-то невразумительное: «Я есть средоточие... есть особое средоточие... гм!.. природных сил... выражение истины!.. Есть ли здесь похожий на меня? Немыслимо, чтобы я один такой на целый свет уродился! Нет, нет, я не один!»

Непосильная задача встала перед ним – укрощение камня. Пока он карабкался, камень под весом тела обваливался, ноги его соскальзывали, и человек повисал над пропастью, слабо цепляясь за неразрушенные куски гранита. Каждый промах мог стоить ему жизни. Потому природа наделила его смиренным мужеством: она уготовила ему орудие, возможности которого безграничны, а сила неисчерпаема. С каждым новым усилием дыхание перехватывало: лёгким не хватало воздуха, человек широко разевал рот, выпячивая нижнюю челюсть, и с особым старанием вгрызался в гранит цепкими пальцами. Где-то вверху замаячил луч света, слепя, но преисполняя силами горного восходителя. Бесплодный страх сменился тихой радостью.

Пропасть оказалась не столь уж глубокой, и уже совсем скоро человек очутился на краю обрыва, некогда сыгравшего роковую роль в его жизни. Он с нежностью припал к влажной земле и впился в неё губами, да так и застыл. Свежий воздух дурманил и опьянял, солнце ласково пригревало темя, а запах земли пробуждал силы – всё дышало свободой и будоражило истосковавшуюся по земной жизни душу. Человек не заметил, как уткнулся носом в чьи-то худые смуглые ноги.

С особым интересом его изучали чужие человеческие глаза.

Глава 3. Приговор

Поношенный неопрятный балахон, накинутый поверх нагого тела, медленно влачился вслед за своим владельцем меж скромных расписных убежищ, из которых то и дело сверкали гневные взгляды. Это жалкое одеяние предоставил человеку какой-то юродивый, хромой, с бельмом на правом глазу старичок. Он нескончаемо юлил вокруг гостя, без умолку лепетал какие-то бессвязные слова и указывал руками в сторону невзрачной лачуги, предположительно, являвшейся его собственным жилищем, но больше похожей на собачью конуру. Пребывая в полной растерянности, человек молча повиновался ему, следуя по указанному пути.

Настал полдень. Солнце опаляло, жгучие лучи так и вонзались в белёсую кожу, не привыкшую к жаркому южному климату. Не спасали даже тени деревьев, плотно обступивших маленькое поселение, приютившееся среди горных массивов на краю злосчастного обрыва.

Да, действительно, это была южная сторона, хоть отсюда и не было видно моря. Человек вытер пот со лба и мучительно вздохнул. Его мучил не столько палящий зной, сколько витающее в воздухе напряжение, яростное мысленное ополчение жителей против него, чужака, посягнувшего на их территорию. Ещё чуть-чуть – и они все, все без исключения, набросились бы на чужестранца, растерзали бы на мелкие кусочки

и радостно завопили, праздную скорую кончину человека.

Выручил несчастного хромой старичок, проводивший человека до жилища и укrywший его от лишних глаз. Лишь только они оказались в лачуге – в тесном, обветшалом, сколоченном кое-как домике, лицо юродивого переменялось и приняло серьёзный вид. Такая внезапная перемена не могла не удивить человека.

– Эти люди не любят тебя. Впрочем, меня они принимают за слабоумного, но любовь – о нет, этого у них не отнять! Ты – вор, раз грабишь чувства людей, – многозначительно сказал старик. Голос его, прокуренный за десятки прожитых лет, хрипел от напряжения. Видно было, что юродивый чрезвычайно стар и, как любой старик, недоволен жизнью: в голосе его звучали нотки недоверия и болезненного раздражения.

– А что побудит... Прости, я безграмотен, как ты выразился? Люди? Хорошо, что побудит этих людей к любви? Я чужестранец. Мало того, они чужестранцы для меня в гораздо большей степени, чем я для них. До настоящего времени мне не встречалось ни одного подобного мне существа, да и нынче я не до конца уверен, что повидал подобных *себе*.

В этот момент брови человека нахмурились. Тогда старик подполз поближе к страннику – теснота лачуги не позволяла свободно передвигаться, приходилось низко пригибаться к земле или же ползать на коленях – и заглянул ему в глаза.

– Как же так, – с изумлением проговорил старик. – За кого

ты себя считаешь?

– Мне незнакомо то, о чём ты говоришь, старик. С того часа, как я очнулся на дне пропасти, мне вообще мало что знакомо. И потому мне пришлось начать жить сызнова, с самого начала, нарекать имя вещам и нарекать имя себе. Лишь самое малое я помню и лишь самым малым обладаю – способностью мыслить. В этом есть я. А вы, вы все в этом есть?

– Прежде чем возражать, позволь, я задам тебе несколько вопросов, – юродивый наклонился к человеку.

– Боюсь, я мало на что смогу отвечать.

– Я не требую от тебя многого: отвечай, что знаешь, а если не знаешь – а ты, несомненно, знаешь границы своего незнания – молчи. Итак. Действительно ли ты считаешь, что имя нарёк себе сам?

– Имя моё мне известно отроду.

– Значит, ты не сам нарекаешь себя?

– И да, и нет.

– А вещам, окружающим тебя?

– Кто, как не я, наречёт их?

Еле заметная улыбка мелькнула на лице старика.

– Знать, природа не обделила тебя разумом. А прочих? Как ты полагаешь? Разумны прочие или нет? – продолжал он.

– Полагаю, что всё, чему я имя нарекаю, неразумно^[2], – уклончиво ответил путник.

– Верно. А чему ты имя не нарекаешь?

Человек умолк.

– Ежели тебе угодно двинуться далее в нашем рассуждении, то следует ответить на этот вопрос. Ответ тебе неизвестен... – начал старик, но человек с остервенением перебил говорящего:

– Он ясен для меня. Что тебе известно, увечный, о том пути, что я преодолел, пока взбирался к вам, в земную жизнь!

Старик помолчал и равнодушно оглядел лачугу. Ветхое дерево сильно нагрелось на полуденном солнце, и в помещении стояла невыносимая духота. Старик попытался сглотнуть, но попытка была тщетной: от жары во рту всё пересохло; воды в доме не имелось. Тонкие морщины проступили на лбу юродивого, рот перекосился от ожесточения. Он смерил чужестранца долгим оценивающим взглядом:

– Ты не желаешь слушать меня. Ты думаешь, что знаешь; быть может, и впрямь. А раз знаешь, тогда найдёшь в себе силы сказать мне следующее: отчего ты наречён, человек?

«Человек!» – загадочное слово, оброненное стариком, зацепило гостя. Дыхание перехватило. Внутри отчаянно забились сердце, да с такой сокрушительной силой, что грудная клетка заходила ходуном. Ещё безумнее оно заколотилось с осознанием сути вопроса.

– Ты задал мне не одну, а две задачи. Я решу их. Дай время на размышление.

Старик про себя усомнился и вышел из жилища. Вернулся он под утро, сопровождаемый возбуждённой толпой по-

селенцев.

Ночь не принесла облегчения жителям поселения. Дневной зной спал, однако облегчающей прохлады никто так и не дождался. Кроны бурно разросшихся деревьев, спасавших от жары в дневное время, когда громадные тени спадали на поселенческие лачуги, с наступлением сумерек теряли свою силу. Бедные люди оставались бессильными перед лицом безжалостного южного пекла. Вечная борьба переселенцев с природой – а они являлись не иначе как переселенцами, или по-другому кочевниками, – длилась десятилетиями, переходила из поколения в поколение, и в жилах каждого кочевника текла кровь доблестного воителя. Воителя с судьбой, воителя с жизнью, с жарой и зноем, с небом и землёй.

Этим походил на жителей поселения и человек. Кроме того, он воевал с собой: что внешний мир – вздор! Как совладать с собой, смириться с тем, что ты человек, – вот поистине трудная задача, вот где проявляется характер настоящего воина и борца. И в то время, когда все спят мирным сном, ты ворочаешься на раскалённом песке и никак не можешь найти себе места. Вдруг ты хватаешься за сучок: рука дрожит, тело содрогается от волнения и предчувствия свершения чего-то великого – и начинаешь быстро, с воодушевлённым ожесточением вырисовывать непонятные символы на земле. Раз символ, два символ... И вот уже можно про-

честь написанное: «Я есть чувство...» Скоро старик поплатится за свои слова. И я воспряну со дна!

Люди взялись за орудия, дабы расправиться с чужаком, и, хотя не было принято единого решения, каждый поселенец знал, что судьба человека предрешена.

– На дно, на дно его!

Тем временем светало, и что-то будто бы сжимало горла людей, да так, что иные валялись наземь от удушья. Изнурение овладело поселенцами. То гнев их помотал или нестерпимый ночной зной?

В лачуге старика доканчивал своё сочинение человек. Слабые руки вяло выводили на песке замысловатые знаки, не приносявшие больше удовлетворения; губы шевелились, словно произнося заклинание. Наконец потное исхудалое лицо уткнулось в землю: поглощённый трудом путник за прошедшую ночь так и не раздобыл себе ни капли воды, ни куска пищи. Силы покинули его так же быстро, как появились прошлым днём, и измождённое тело, больше похожее на скелет, обмякло.

Насколько душа зависима от тела! Как в тесной клетке, ей негде развернуться, пошевелиться негде. Вот и тело неподвижно, и душа будто не живёт. Входят люди в жилище, берут на руки бездыханную плоть, погребают в землю – родную мать тела. «На дно, на дно его!» – слышится со всех сто-

рон, и смуглые ноги замечают следы деятельности человека.

«Я есть чу...»

«Я есть...»

«Я...»

Не остаётся и следа.

Глава 4. Обет молчания

Абсолютно непроглядная тьма окружала человека со всех сторон плотной стеной. Дрожащие руки упёрлись в землю и сделали попытку сдвинуть окоченевшее тело с места. Тело не подчинилось. Зато подчинился рассудок. Мысли зашевелились и завертелись, словно шестерёнки некоего невидимого механизма, восстанавливая в памяти фрагменты и образы подёрнутого дымкой забвения прошлого.

Постепенно взор его прояснился, и в глубине мрака человеку привиделось какое-то существо. «Мерещится?» – подумал он и тотчас усомнился в своей мысли: перед глазами предстал силуэт небольшого парнокопытного животного, заблудшего по неопытности в отдалённые места. «Кто же ты?» – и человек стал внимательно рассматривать загадочный силуэт. Силуэт отпрянул, а затем вдруг молниеносно приблизился и лизнул человека в лицо; тот воскликнул от неожиданности:

– Эй, человек!

На носу осталась приятная влага.

Рассмотрев в подробностях незнакомое существо – тело того покрывала на ощупь мягкая, на цвет бурая шёрстка, тёмные глазки казались совершенно пустыми и бездушными, человек громко заявил:

– Я ошибся, чему чрезвычайно рад.

Зверёк трясся мелкой дрожью: от сырости земли шерсть намокла и слиплась – холод пробирал хрупкое тельце.

– Ты так глуп, что не прогонишь меня, верно? – улыбнулся несчастный зверьку. – Как бы мне тебя наречь? Хотя постой, быть может, ты ответишь мне, как наречён я? Вздор, себя я знаю. И знаю, пожалуй, лучше многих прочих, да простит их... – тут человек замешкался. – Действительно, я не держу на людей зла. Они просто не хотят знать, отчего наречены. Да и я сам допустил осечку...

Человек распростёр руки.

– Блаженное невежество – суть... Хоть и знаю того, кто нарёк меня. Ведь это нетрудно знать, правда? Как жаль, что тебе этого не суждено понять, милейшее существо. Зовись зверем – будет тебе имя.

Животное завиляло хвостом.

– Что же прикажешь мне делать с тобой?

На дне пропасти становилось всё холоднее. Порыскав в темноте, человек наткнулся на пару булыжников и попытался развести огонь. Искра, ещё одна искра – безуспешно. Тогда он прислушался: что-то скажет ему внутренний голос? И зарыдал слезами, потому как голос молчал; посмел же раз заикнуться, а человеку теперь и мучиться. Тошно!

Когда слезы иссякли, лицо его приняло полудикое выражение. Голодный желудок требовал пищи. Пристально прищурившись, человек забегал глазами по округе. Наконец животное попало в поле его зрения.

На вкус сырое мясо оказалось не таким уж и скверным. Оно достаточно неплохо насытило путника, и слабое подобие улыбки показалось на его лице, после чего губы скривились и содержимое только что наполненного желудка вышло наружу. Человеческий стан пригнуло низко к земле, всё тело затряслось. Глаза налились кровью, и, более не сдерживая себя, несчастный завыл – завыл по-волчьи, от отчаяния, от тоски и безнадёги, обуявших хрупкую душу, навалившихся на немощные худые плечи *человека*. Да, это была поистине человеческая участь. Участь пасть и навсегда забыться, отравиться плотью и навсегда уснуть... Нет! Нет! Рано погребать себя!

Глава 5. Испытание

Кто-то из жителей дерзнул спуститься на дно, чтобы спасти несчастного.

Очнувшись после забытья, человек обнаружил себя лежащим на простыне, раскинутой на земле под деревянной крышей одной из низеньких лачуг, какие сколачивали для жителя поселенцы. Сладостные запахи разносились по жилищу. Нюх не подвёл проснувшегося: лихо развернувшись, он задел рукой посудину с каким-то бульоном, вследствие чего добрая половина харчей чуть не оказалась на полу. Но ловкость не подвела человека: рефлексы за время его скитаний настолько обострились, что тот реагировал молниеносно, и уже через мгновение в руках его была почти полная невредимая плошка, из которой голодный до безумства человек тут же отведал кушанья. Утраченные силы понемногу возвращались. Насытив прежде расстроенный сырым мясом животного желудок, человек прислушался. Через открытое окно где-то в отдалении слышались истошные вопли, перемежавшиеся то с плачем, то со стоном; судя по ним, кричала женщина. С каждым новым криком сердце в груди ёкало и болезненно обливалось кровью. Человек встрепенулся и ринулся, совершенно нагой – одежда осталась глубоко на дне обрыва – наружу.

Трое поселенцев, лишь только заметив издали чужака, по-

пытались его схватить. Один накинута на него со спины, но промахнулся и рухнул на землю, изувечив себе лицо. Двое других успешно преследовали человека, пока тот не достиг площади – место представляло собой просторную поляну, где пытали несчастную. Пробившись сквозь толпу взволнованного народа, человек попал в самое сердце публичной расправы. Перед ним, еле удерживаясь на разбитых коленях, сидела совсем ещё юная девушка. Глаза её были полны слёз, а обнажённая спина – одежда изорвалась на ней, оголив части тела, которые калечила плеть, – была исполосована кровавыми узорами. Лицо девушки обратилось к человеку. Как ни странно, заплаканное лицо выражало совершенную невозмутимость.

Стоит только оказаться человеку в чрезвычайной ситуации, как парадоксальным образом перестают действовать для него законы здравого смысла. Так и сейчас: подвергая себя повышенной опасности, не тратя время на раздумья, он схватил щуплое женское тельце на руки и метнулся прочь с поляны. Двое преследователей, запыхавшиеся от погони, насилу протиснулись через людей. Выскочив на место расправы, они не обнаружили никого, кроме одиноко стоящего и озирающегося в растерянности по сторонам мучителя девушки с кожаной плетью в руках. Чужака потеряли из виду.

«Скорее, скорее! Укрыться от взоров и голосов, от гневных глаз и возмущённых криков!» – человек мчался что есть мочи и вскоре миновал лесной массив, окружавший зло-

счастное поселение, выбежав к широким горным лугам. Там с девушкой на руках он повалился наземь, в густую высокую траву.

Радость переполняла человека, и оттого он уже как с час, набравшись сил во сне, проведённом на лугу под открытым небом, вёл оживлённую беседу со своей спутницей.

Девушка смеялась, обнажая ровные белые зубы. Кожа её, смуглая, загорелая, как у амазонки, от продолжительного бега, от палящего зноя, отливала багрянцем. Оборванное платье равномерно облегалo крепкий девичий стан. Из-под одежды показывались маленькие груди.

– Взгляни на моё тело, человек, – воскликнула она, – притягательно ли оно при свете солнца? – и провела пальцами по свежим ранам. Последовал сдавленный вскрик.

– Любая плоть – от плоти, – мрачно заметил тот. – С того дня, как я обрёл себя, никогда ещё моя душа не позволяла умерщвлять себя не только телесностью, но и мыслью о том.

Девушка в ответ лукаво прищурилась.

– Я знаю о твоих исканиях, – проговорила она и, обхватив плечи человека, махом прижала его к земле, – и скажу тебе, с чего ты начал поиски – с чувства. Оно в тебе, оно и есть ты! Так ли я говорю?

Слово застряло у человека поперёк горла. Впервые в жизни его тело ощутило тепло женских объятий. Пересилив себя, он, то вздрагивая, то замирая, отвечал:

– Чувство мыслимо мною. Потому я выше него, я есть нечто выражающее мысль; скоро ты это увидишь. Стань же верной себе, а не другому! – и высвободился из цепких рук.

– Ах, прекрасен был бы мир, воплотившийся в одном-единственном чувстве, – то райский сад, не меньше!

Весёлость девушки сменилась задумчивостью. Напряжённое размышление выразилось на лице юного создания. Гладкий лоб покрылся лёгкими морщинками. Затем мысль будто слетела с её лица и соскочила напрямиком на язык:

– Кто же посмел изречь эту мысль? – возвратилась она к прежним словам человека.

– Верь мне, я знаю! – ударил себя в грудь человек и самодовольно улыбнулся.

– Так знаешь ты, и отчего молвлена она?

Тишина повисла в воздухе. Ласковый ветерок слабо колыхал стебельки трав, играл с макушками вдали стоящих деревьев и уносился куда-то прочь, к морским берегам. Небо окрасилось в чистые голубые тона, какие часто можно наблюдать в летние месяцы; ни облачка. Со всех сторон высились крепости горных массивов – покой людей был в надёжных руках неусыпной охраны.

Человек обвёл взглядом представший пейзаж. Губы плотно сомкнулись. Молчание стало залогом его правоты.

– Нам надо добраться до города. До какого-либо города, где есть пергамент, – сказал человек. – Там, я полагаю, ты найдёшь ответы на вопросы, волнующие тебя.

– Я нисколько не против поглядеть на городское житьё – я родом из кочевников, и нас не раз заносило на окраины городов. Как презабавно живут люди! Что за вещи они создают, что за сооружения воздвигают! Но мы в горах, и до ближайшего города не менее сотни миль. Преодолеть подобные расстояния, не имея ни пищи, ни крова, под коим следовало бы укрыться и переждать ночь, – возможно ли это?

– На днях мне было явлено откровение^[3]. И находясь при последнем издыхании, не имея сил в себе, я положусь на силу, что полагает меня^[4].

– Безумец! – воскликнула девушка. – Вслушайся в слова свои: ты противоречишь себе, идёшь наперекор своей же мысли! Полагаться на откровение – то же, что полагаться на чувство. Не ты ли говорил, что его (чувства) нет в тебе? Господи, как мне не повезло; я не могу отныне бросить тебя, ты посеял во мне зерно сомнения, от которого мне теперь вряд ли избавиться. Дорога моя лежит через тебя, она пересекается с твоим путём, с твоей жизнью. О, как несчастен ищущий! Как несчастен просящий!

Человек безучастно наблюдал. В голове его роились тысячи догадок, тысячи ответов, которые, увы, он не мог передать словами несчастной.

Однако же его поразило, как изменилась девушка с момента встречи. Как хладнокровно было её лицо тогда, когда тело изнывало болью, расходилось по швам, обнажая алые проталины. И какое отчаяние охватило её ныне, когда на ду-

шу пала ничтожная тень сомнения и сокрыла под собой все прежние привычные устои веры. Пошатнулись опоры – полетел кувырком вековой уклад.

«Сладка моя жизнь – она не ведала законов», – подумал человек.

Глава 6. Нарыв

Двое людей двинулись в путь.

Дорога их длинна, цель не близка. Кочевники не зря приютились у подножия гор – никто их не мог тронуть: ни звери – те скорее опасались падких до охоты переселенцев, ни люди. Девушка говорила чистую правду: до ближайшего города требовалось преодолеть даже не сотню миль, а несколько сотен – таковы были точные значения. Расстояние немалое.

Не прошли они и половины пути, как силы их начали угащать, и люди еле волочили по грязной земле свои дряблые ноги. Полуденное солнце иссушивало тела, выжимало из нежной кожи все соки. Пот заливал веки. Миновав плоскогорье, путники очутились среди деревьев; отовсюду измождённые тельца обступала густая зелёная чаща.

«Бесконечные дебри! Нет им конца», – сердился человек, переступая через попадавшиеся под ноги коряги и сучки. Каждый новый шаг давался ему с трудом. Никогда не ступала здесь нога человека, никто ещё не ходил этой дорогой, ни одного следа не виднелось на земле, и не за кем было следовать. Холодная свирепая чащоба господствовала в гордом одиночестве.

Впереди замаячила груда каких-то обломков. Путники пригляделись и оторопели, силы окончательно покинули их.

Девушка упала на колени.

– Бурелом!

Человек не повёл и бровью: преграда не поколебала его решимости.

Близился закат. Порешили заночевать у бурелома, укрывшись под поваленными деревьями.

Ночь выдалась беспокойной и отнюдь не по причине журчащего желудка и изнашивающих голеней. Что-то заняло внутри человека, пока тот укрывался листьями да сучьями, сооружая себе ночлег. Разум его возвратился к тому, что прежде ему хотелось отбросить, оставить до прихода в город, где уж он взялся бы за вскрытие – истина стала нарываться раньше, невыносимо нарываться! Вскрыться сейчас, сию минуту, ждать более нельзя, иначе путник погибнет! Не дойдёт, не доползёт до источника жизни, к которому и идти-то не надобно: он тут вот, в нём самом.

Тягостно изнашивали мысли: в чём заключается ответ, отчего он так живёт, отчего пребывает в мире, в самом себе? И вот он бредёт, бредёт и придёт ли куда-либо – кто знает? Не сотворит, не свершит задуманного – и к чему потрачены силы? А быть может, и того хуже: свершит и разочаруется – отчаётся в себе, не пожелает возобладать над собой, взыщет славы другого и преклонится пред ним^[5]. О ужас!

Вопросы подступили к горлу человека, врезались в шею, словно петля, и душили, душили. Человек схватился за горло и хрипло задышал. Рана нарывала.

– Сальваторис! – кричал человек подбегающей взволно-

ванной девушке. – Сальваторис! Сочится, сукровицей сочит-ся.

– Где, где, человек? Где? – взгляд её испуганно бегал по телу несчастного в попытках отыскать рану.

– Во мне, во мне она нарывает! – слёзы навернулись на глаза человека. В бешенстве он метнул в сторону сук, из-под которого струёй брызнула кровь.

– Боже мой! – Сальваторис метнулась в сторону, сорвала пару листьев с дерева и стала прикладывать к боку человека. – Боже мой, боже мой...

– Долго... слишком долго мы шли... Нет! Слишком долго я шёл: падал, взбирался, падал, вновь взбирался, шёл, тащил телесность... А душа-то! Душа – она не ждёт! Нет, не ждёт! Затянулся мой поход, Сальваторис.

– Да что же ты, что же? Мы и половины не прошли того, что наметили. Как же твои слова? Вспомни, как там... «...и находясь при последнем издыхании, не имея сил в себе, я...»

– ...Я положусь на силу, что полагает меня, – закончил человек и зарыдал. – Да с чего... да с чего, скажи мне, я решил, что знаю, что за сила такая полагает меня? То я сам или *что* иное? Не знаю! Ничего не знаю и не хочу знать. Одного желаю, самого сокровенного, того, что долго теплилось во мне, а теперь вдруг взыграло, всполошило душу, а с ней и тело: почему... для чего... нет, *отчего* я есть? Вот то, что я так явственно переживаю день ото дня, что живее и ощутимее всего прочего в мире – отчего, отчего оно? Над чем ты

так безжалостно глумилась, то есмь моя сущность, которую, кажется, мне не дано разгадать никогда!

– Тише, тише, – успокаивала девушка и ласково гладила рукой по осунувшемуся лицу человека. Вспоротый древесным суком бок опух и наливался краской. Кровь никак не желала останавливаться.

Сальваторис сложила руки в молитве. Ей ничего не оставалось делать, кроме как, чтя обычаи предков, по-язычески молиться за упокой души пострадавшего – другого пути, по мнению девушки, у человека не оставалось. Ослабленный организм не поборет болезни, а значит, рана воспалится и погубит его окончательно.

К утру боль поутихла. Человек лежал смиренно, укрытый листвой. Подобрал под себя ноги и обхватив их руками, он равнодушно поглядывал в сторону восхода. По лесу простирался сизый туман, негромко посвистывали утренние птицы. Прислонившись затылком к стволу хвойного дерева, дремала уставшая Сальваторис. Капельки мелкой испарины блестели на кончике её носа; девушка уснула недавно. Привлечённые запахом пота, к лицу её припали насекомые-паразиты, жадно посасывавшие свежую кровь, – пребывавшая в забытьи Сальва не замечала их. Она истратила всю ночь на больного, то прикладывая к ране свежие листья, то бегая к лесной речке, оказавшейся вблизи их ночлега, набирая во что придётся воды и промывая порез от сука. Наконец сон сморил её: она уткнулась головой в первое попавшееся де-

рево да так и заснула.

Взгляд человека блуждал по телу девушки. Губы его разомкнулись, и он слабо выдавил из себя невнятный хрип – слово не вышло. Собравшись с силами, он кликнул второй раз. Теперь звуки собрались во фразу: «Сальваторис». Ответа не последовало. Опираясь на локоть, человек приподнялся и подполз к девушке. Рука его опустилась на тощее плечо, выглядывавшее из-под одежды. Девушка вздрогнула. Веки открылись. Несколько мгновений она растерянно глядела на человека, затем лицо её приняло строгий вид, и, потирая ноющий затылок, девушка встала.

– Как ты себя чувствуешь? – она прикоснулась губами ко лбу человека и заметно оживилась.

– Недурно.

– Нам пора, – и Сальваторис двинулась через бурелом по направлению к реке.

У реки путники вдоволь напились, перебрались через неё вброд. За рекой неожиданно для них лес начал редеть, а потом и вовсе кончился. Путники вышли на равнину; вопль радости огласил просторы: впереди виднелись черепичные крыши одноэтажных домиков, дымились трубы, слышались людские голоса. По великой случайности, не имея средств ориентирования и, в конечном счёте, отклонившись от намеченного маршрута, путники набрали на предместье того далёкого города, куда они сперва держали путь.

Глава 7. Родная кровь (эпизод из предыдущей главы)

Она спасла его, вновь подняла со дна. Она – Сальваторис, девушка-богиня, подруга жизни и мечты. С течением времени человек всё более сознавал, каково это – находиться бок о бок с родственной душой. Подвергаясь испытаниям, вскрывая собственную душу, он нередко томился желанием позабыть себя и увлечься *другим*. Подчас ему хотелось отдаться *чувству*, которому он больше всего в жизни боялся дать волю: преклониться пред чужим человеком – о, какой страх!

– Друг мой, благодетель мой, на что я такой уродился? – изнемогая под покровом поваленных деревьев, человек размахивал рукой, вцепился в платье Сальваторис, потянул к себе.

– Господи, – Сальваторис подошла и положила руку на разгорячённый человеческий лоб. – Жар...

– Дай мне к тебе прижаться, родная кровь моя, дай в тебе забыться, дай захлебнуться в невозможной для меня любви, Сальва, – умолял человек. – На дно падёт не каждый. А я – я пал, я отрёкся, хоть и не помню того. И всё это во имя... Во имя себя, но и во имя родителя человеческой жизни, а теперь покинут, оставлен им...

Лицо девушки исказилось от жалости.

Всю оставшуюся дорогу человек и Сальваторис более не разговаривали: каждый чувствовал себя виноватым перед другим и потому не смел произнести ни слова. А сердце человека не замолкало ни на секунду. Всё чаще и чаще оно билось в груди с неодолимой силой. Природное чувство возгоралось в путнике; всё его естество, столь далёкое от безукоризненной природы разума, желало Сальваторис – как женщины и как матери. Душа, угнетённая тяжкими мыслями, хотела освободиться от ноши, томилась по нежной ласке, искала приюта. Здесь не было страсти, не было грубой похоти, совершенно не свойственных душевным порывам. Здесь было самозабвение и жалкая детская беспомощность. Храбрость воина переросла в малодушие.

«Сладка моя жизнь – она не ведала законов». О, как ошибался человек! Природа его ведала законы гораздо более строгие, чем те, под властью которых проносилась жизнь Сальваторис. Потому человеческая воля изнемогала, слабела и не находила в себе сил обратиться к голосу вечности, достигнуть наивысшей стадии сознания невозможности, чтобы в то же время обрести спасение. Так падают на дно, не сумев подняться.

Глава 8. По образу

На входе в предместье людей встречала невысокая каменная часовенка. Босые ноги ступили на сохлую траву – часовня располагалась возле дороги – и взошли по ступеням к главному входу.

У входных дверей на корточках сидел приземистый мужичок и стрелял в посетителей часовни злыми бесноватыми глазками. На теле его повис замызганный хитон, порванный в районе талии; подол одежды обуглился, словно кто-то нарочно поджёт беднягу, пока тот отвлётся или решил вздремнуть. Завидев чужие лица путников, мужчина заулюлюкал и замахал рукой, подзывая их к себе. Человек покосился на Сальваторис и с осторожностью приблизился к бродяге. Мужичок залепетал что-то на местном наречии.

Между тем из часовни вышла пожилая женщина в ситцевом платке и, обращаясь к бродяге, громко крикнула:

– Нашёл место! А ну, пошёл прочь, рванина!

Мужичок вздрогнул, неожиданно для всех стукнул по порогу часовни и со злобой плюнул в сторону женщины.

– Ах ты... Гад! – женщина замахнулась кулаком, чтобы дать в лоб негодяю, но промахнулась. Бродяга подскочил и резво бросился прочь, скаля зубы и продолжая улюлюкать.

– Гад! – в сердцах повторила женщина, поднимаясь с земли, куда нечаянно рухнула, пока пыталась проучить оборван-

ца.

Смешанные чувства переполняли человека. Жалость, гнев, отвращение к бродяге спутывались между собой в его сердце, и выходило что-то странное, противоречивое.

Над самой головой человека низко сманеврировала птица, грациозно раскинув пёстрые крылья, и опустилась на то место, где прежде сидел мужичок. Острый птичий ключ переливался при свете солнца, небольшая головка с чёрными глазками была гордо вскинута. «Как благородна эта птица!» – изумился про себя человек. Внутри него вновь всё перевернулось и наполнилось блаженным покоем. Внимание его опять отвлекла женщина в платке, жаловавшаяся Сальваторис на мужика-бродягу.

– Представь себе, каждый божий день как заведённый ходит сюда, – говорила она. – Уж и кто только ни пытался выдворить его отсюда – тщетно. Был бы храм, а не часовня, глядишь, и позаботились о порядке. А здесь кому это надо... Жаль только, народ пугает, полоумный, а ведь он такой и есть: бог его знает, что в уме творится. Господь недоглядел: не все по образу вышли, вот и появился на свет этот – выродок, – уже равнодушно кончила она и, вздохнув, поплелась по дороге, вскоре скрывшись из вида за каким-то домом. Человек с удивлением смотрел ей вслед: «А действительно, не каждый *по образу*». Прежнее сомнение закралось в его душу, и он глубоко задумался.

Путники вошли в часовню. Изнутри сквозь оконные вит-

ражи от пола до стен её заливал холодный синеватый свет – потолка он не достигал, и верхняя часть помещения скрывалась от взоров прихожан в полумраке.

Под тенью махонького куполка возвышался стержень из грубой породы дерева, у верхнего конца пересечённый перекладиной. Человек внимательно взгляделся в необычный объект и подошёл к нему поближе, пытаясь разобрать стёршуюся временем надпись над верхней перекладиной. Его отвлекла Сальваторис. Она указывала пальцем на человека в длинной до пола рясе:

– Полагаю, у этого милейшего человека предостаточно нужной нам бумаги.

Действительно, в руках мужчины держал громадную стопку бумаг в потрёпанном переплёте. Руки мужчины дрожали: казалось, он вот-вот выронит содержимое на пол. Не медля ни секунды, человек ринулся к нему.

Человек в рясе с невозмутимым спокойствием двигался вдоль стен часовни. Он улыбнулся бежавшему ему навстречу нагому длинноволосому незнакомцу и, когда тот остановился перед ним, тихо спросил:

– Чем я могу помочь тебе? Я вижу, ты чрезмерно взволнован.

Грустная улыбка не сходила с его лица.

Человек замешкался, не зная, как обратиться к старику – несомненно, седая окладистая борода выдавала в нём человека преклонного возраста, и со смущением произнёс:

– Отец, позволь мне взять пару листов твоих бумаг. У тебя их целая стопка, а мне для нужды.

Брови на стариковском лице приподнялись: с одной стороны слова человека были проявлением крайней степени неуважения к духовному сану старика, с другой – звучали с неподдельной искренностью. Человек, по-видимому, сам не ведал, с кем говорил, а оттого поведение его походило на панибратство и непозволительную дерзость.

Узенькими щёлками глаз старичок с интересом осмотрел на человека и, помедлив, произнёс:

– Да разве ты не видишь, что у меня в руках?

Ссохшиеся губы старика будто и не двигались: голос исходил откуда-то изнутри.

Вокруг собеседников начал потихоньку собираться народ. С любопытством все внимательно вслушивались в занимательный разговор пастора с малограмотным чудаком.

Губы пастора дрогнули. Он резко развернулся и, подобрав рясу, удалился в темноту. Немного погодя, силуэт его вынырнул из тени, стремительно приближаясь к человеку. В руках он держал лист пергамента и перо, кончиком окунутое в медную чернильницу.

– Бог знает, отчего я помогаю тебе, сын. Пожалуй, оттого что слушаюсь закона небесного – не смею не обратиться к тебе щеки, терпя и принимая оскорбление. Добро за зло – вот единственное мерило справедливости, запомни это, – окончил свою речь пастор и протянул человеку бумагу с черни-

лами. Публика с волнением наблюдала за тем, что последует дальше.

– По всей видимости, я должен преклониться пред тобой, милейший, – человек отвесил низкий поклон, – знай, что ты платишь добром за добро. Нет в моих побуждениях и капли зла.

После он обернулся к Сальваторис и со слезами на глазах обнял её, крепко прижимаясь к женскому телу, чтобы в последний раз ощутить его тепло и навечно отойти к миру иному.

– Прощаюсь с тобой, дорогая Сальваторис, ведь путь твой окончен. Наши дороги расходятся, моя – устремляется ввысь. Покинь меня, Сальва, но дождись минуты, когда я спущусь с вышины и порадую тебя тем, что обрёл.

Всем телом затряслась девушка, ноги её подкосились. Человек подхватил её, и Сальваторис увидела перед собой печальное, покрытое морщинами лицо; дуги бровей, выжженные палящим южным солнцем, едва виднелись над впавшими глазами, над припухшими от нехватки сна веками, и сливались с белёсым, мертвенно-бледным лицом. Отросшие волосы спадали на мокрый лоб, щетина покрывала острый подбородок. Уголками рта человек как будто усмехался.

– Ты слышал прежде мои слова: дорога моя лежит через тебя! Поклянись, что откроешь мне истину, как возвратишься.

Пастор, стоящий в стороне и стеснённый набежавшей

публикой, двинулся вперёд и вложил в руки Сальваторис какую-то книгу.

– Помилуй, Сальва! – сказал человек. – Истина возможна только для одного^[7] – мне стало это ясным здесь, среди людей. У них нет возможности заглянуть под корку моего черепа, ощутить, помыслить меня изнутри. Так и мне нет возможности истинно познать, что там, *по ту сторону меня*.

Тело Сальваторис обмякло; по щекам потекли слёзы. Потом она встрепенулась, поглядела на книгу в своих руках и что-то решила для себя в уме – окончательно и бесповоротно.

Гулким эхом отозвались в тишине часовенки её последние слова:

– Мне незачем ждать тебя. Моя вера искреннее твоей, она не ждёт и не дремлет, – и ткнула ветхим переплётом человеку в лицо.

Человек ответил ей одобряющим кивком.

По уходе человека она пожелала остаться при пасторе и, когда тот подался в монастырь, постриглась в монахини и удалилась вместе с ним.

Глава 9. Прибежище

В одной из столярных мастерских предместья объявился ранее никому не известный ремесленник: тощий, с проседью в волосах, с ног до головы бледный как смерть человек. Голод и долгая дорога наложили заметный отпечаток на беднягу, по его рассказам, прибывшего из окрестностей дальнего горного поселения.

Жалкий вид человека вызывал чувство сострадания, и ремесленники, посоветовавшись, приняли его в столярное дело, куда он просился ради заработка на кусок хлеба. Работа чужака, как и любого начинающего подмастерья, не требовала особых умений в столярном ремесле, а играла, скорее, подсобную роль: принести, подать, поддержать; в конце дня с ним расплачивались. По окончании трудового дня человек, как правило, удалялся в небольшую тесную каморку при мастерской, служившую изначально в качестве кладовой для различного рода сырьевых материалов, а теперь ставшую его постоянным местом жительства. Мастерские помогли человеку обустроить камору по всем правилам удобства: приволокли с городской свалки брошенную прежними хозяевами кушетку, малость потрёпанную и пропитанную запахом табака, достали с бывшего склада, который теперь переместился в новое помещение, деревянную столешницу и подпорки для неё и водрузили на получившийся столик массивный

подсвечник.

За аренду комнаты потребовали три медяка в месяц. Человек колебался в нерешительности: месячная заработная плата его не превышала пяти медных монет. На пропитание оставалось не много, но и не мало: он не был избалован жизнью, на сносную жизнь оклада вполне хватало.

Судьба на гребне своих волн в очередной раз вынесла его к берегам человеческой цивилизации. Так заблудившееся в море судно невольно натывается на участок суши, где членов экипажа ждёт спасение: простор, твёрдая почва под ногами. Но иным образом обращается для мореплавателей финал их приключения, коль скоро земля, куда они прибыли, чужая. Здесь царят и торжествуют другие нравы, иные правители, непривычные законы и пугающие свирепостью блюстители порядка. Бесконечность разделяет чужаков и местных жителей, делая первых вечными отшельниками, вторых – владыками земли; первые извечно будут в подчинении вторых. И как бы ни хотелось спутникам расправить крылья, прочувствовать долгожданную свободу всем телом и душой, их место – в клетке, где в их власти творить что заблагорассудится. Как хищника упрячут за решётку, так и чужаков судьба загоняет в неволю, оберегая от хищника извне, по ту сторону оград.

Камора стала пристанищем человека, залогом его защищённости. Удаляясь в конце рабочего дня в душную комнатку, он чувствовал себя в безопасности. Камора – его род-

ной мир, действительная реальность, не плоская и блеклая, а насыщенная, живая. Сам того не сознавая, человек с самых первых дней работы в мастерской провёл чёткую непреступную границу между собой и людьми. Разум его погрузился в мир понятий и абстракций, стараясь уловить суть вещей, что являлись перед ним изо дня в день: стол, свеча, пергамент, чернила, собственное тело, чувство, мысль – он вникал, пробирался к ответу; по истечении времени он приоткрыл бы занавес и узрел величие и вместе с тем простоту истины.

Как-то раз сон сморил его во время работы. Пальцы человека некрепко сжимали перо, с которого на разложенный пергамент спадали капли свежих густых чернил. На листе пергамента уже было начертано несколько строк. Мозг человека напряжённо работал, взвешивая написанное; кровь прилила к вискам, от напряжения на тоненькой шее взбухли жилы: «Мысль... Я... Свеча, будь она неладна!» Огонёк свечи растаял, оставив после себя пахучую дымку. Человека окружила крошечная тьма: окон в каморке не имелось, и даже блеклый луч лунного света не мог пробраться в этот потаённый уголок. Философ заёрзал, хотел было подняться поискать коробок со спичками, но махнул рукой и обмяк уставшим телом на стуле. В голове завертелись воспоминания лиц, событий, мест – сплошной хаос, из которого мало-помалу образовались каменные стены, земля и чей-то человеческий облик. Сквозь кожу непокрытых, часто вздымающихся грудей незнакомца проступали кости рёбер, под ни-

ми гулко стучало сердце...

...Неизвестно, сколько он провёл времени в беспмятстве. Его разбудил чей-то знакомый прокуренный баритон. Придя в чувство, человек обнаружил себя в родной каморке. Ремесленник в холщовом переднике, надетом поверх рубашки с закатанными до локтя рукавами, потирал ладони и гудел басом.

От растерянности человек залепетал невнятные оправдания. С ужасом кинулся расчищать поверхность стола от бумаг; по рассеянности свалил чернильницу: сосуд опрокинулся, расписав передник мастерового лиловыми пятнами. Ремесленник нахмурился, постоял, помолчал и, причмокивая, вышел из каморы.

Вечером того же дня он, не предупреждая, нагрянул к человеку. Трое рослых мужей, бывших вместе с ним, разом навалились на бедолагу, топча и выбивая из того признание. «Гость непрошенный, ответь, кто тебя нарёк? От кого посмел произойти на свет?» – прогремел в ухо пострадавшему грузный коротко стриженный ремесленник. Человек со страху схватил со стола лист пергамента и сунул ему в руки. Тот, с ожесточением рванув листок, так, что от рукописи уцелел небольшой клочок, пробежался по нему глазами, досадливо сплюнул. Пальцы быстро скомкали расписанный обрывок пергамента, и столяр швырнул его в угол комнаты.

Уголки рта человека заметно дрогнули, но он сумел сдержаться, чтобы не завопить. Крепкая рука схватила за ши-

ворот бедного подмастерья и выкинула из каморы. Человек упал плашмя, разбив себе верхнюю губу. Опомнившись от удара, он перевернулся на спину – светлая рубашка его превратилась в грязный помятый мешок – и поймал брошенный в него комок бумаги.

В душе человека творился бедлам. Гнев напал на него, словно хищный зверь, помучил, выпустил из зубастой пасти, перекинул другому хищнику – равнодушию. Тот жадно вцепился в жертву, и тогда человек плюнул на судьбу, на жизнь, на людей: «Будь что будет!» Он глянул в окно мастерской, ведущее на улицу: плотная пелена грозовых туч медленно продвигалась по небосводу; в тех или иных местах тучи наливались чернотой, точно обугленные, и, гонимые диким ветром, погружали всё предместье во мрак. Повинуясь ветровым порывам, стёкла в рамах затрещали и вдруг полыхнули пламенем, во всяком случае, так показалось человеку.

– Господи! – воскликнул кто-то из мастеровых.

Пространство огласил раскатистый гром.

С ржавой крыши, куда ударила молния, огонь перекинулся на боковой фасад дома. С округи уже сбегались жители, кто взволнованно, кто с интересом наблюдая за диковинным явлением. Перешёптывались, посмеивались. Показалась вереница людей с ведрами, переполненными водой, выплёскивающейся из краёв. Среди суматохи возник силуэт незнакомца, по одежде напоминающего подмастерья. Он неторопливо покинул сверкающую искрами пламени мастерскую,

крепко сжимая в руках какой-то свёрток. Лицо его было бледно; под рёбрами гулко стучало сердце.

Глава 10. Язык молчания

Как страшно, как невыносимо тоскливо обращаться к безмолвию.

Покинув мастерскую, человек миновал один или два коротеньких переулка – в ту пору разыгравшаяся непогода уже успела смениться затишьем – и очутился у старого заброшенного особняка. Там он наткнулся на прелестного вида сад, ухоженный и прибранный в отличие от дома, за ним явно следили и всеми возможными способами обхаживали.

Сад был ограждён невысоким заборчиком. Человек перелез через него и свалился в пахучие заросли: воздух вокруг наполнился благоуханием, затуманил сознание, опьянил, погрузил в состояние мгновенного гипноза. Вспомнились слова Сальваторис о мире, воплотившемся в одном-единственном чувстве.

Тысячей невидимых насекомых кишел сад, тысячей пьяниц, пребывавших во власти бешеной эйфории. В безумном танце кружил хоровод захмелевших, толкаясь, жужжа и стрекоча на непонятном, мудрёном языке. Заплутавший жучок, не рассчитав скорости, влетел человеку в ухо. Отчаянно перебирая лапками, он приятно защекотал по мочке уха – человек шумно рассмеялся и, нащупав его, схватил двумя пальцами, приблизил к глазам.

– Как наглядна жизнь букашки: вот она – при мне, нали-

цо. Крохотный жучок. Иногда он даже я, – человек раздавил насекомое пальцами. – А я всегда при себе.

Вслед за словами прекратилось действие гипноза. Хмель сменился болью похмелья – трезвым сознанием жуткой действительности, от которой трудно спрятаться, тяжело забыть, уберечься. Где-то под кожей, в самых жилах, пульсирующих потоками крови, вскипело тревожное чувство.

Человек всё ещё сжимал в кулаке полумёртвое насекомое, бившееся из последних сил в надежде улететь из цепких рук неволителя.

– Да, я – при себе! – завопил в одолевшем его отчаянии человек. – Как больно, как одиноко, всё молчит; внутри, везде молчит. А я слушаю, слушаю с терпением, со вниманием. Тоска! – крепко стиснув зубы, он запрокинул голову к небу. – В то же время что-то кричит во мне, а я не слышу. Хоть убей, не слышу! Оно *через меня* кричит, оттого и не слышу, но слушаю: не могу не слушать! Оттого и человек я, оттого и наречён. Не слышно того никому, одному мне суждено слушать, принуждён я навечно. И, видно, жизнь человеческая в том. Больше скажу: моя жизнь в этом!

Вокруг непринуждённо крутилась мошкара, то садясь, то поднимаясь с нагих плеч, шеи, конечностей человека. Высокий особняк, могуче возвышаясь подле, бросал свою тень в сторону от сада, немного не достигая его, словно давал возможность всем присутствовавшим в саду насладиться ласковым теплом клонящегося к закату солнца.

Смеркалось. За последние часы человек так и не тронулся с места. Пока светило солнце, голова его прояснела; тревога улеглась и более не смела беспокоить. С наступлением ночи к горлу вдруг подступили слёзы. Человеку вспомнились стены пропасти и даже показалось, что он вновь среди них, в замкнутом кольце, где вместо каменной ограды – ограда неосязаемая, небесная. Человек окинул беглым взглядом темнеющий небосвод, прикрыл веки и уткнулся лицом в землю, пытаясь скрыть слёзы. Никого, кто мог бы увидеть его, поблизости не было, но несчастному всё же хотелось укрыть свою печаль как можно надёжнее: во тьме своих глаз, в немоте языка, в глухоте ушей – он заткнул пальцами уши, больно царапая раковины отросшими по концам мизинцев ногтями. Отныне кругом ничего будто и нет, однако он всё же есть. Хоть убей, *есть он!* И не скрыться никуда, не спрятаться – вот ты, и всё при тебе, налицо. Твой долг – вынашивать в себе мир: подносят его на блюдце, не спросив и позволения, потому тоска. Сущее проклятие!

Ветер щекотал оголённую кожу человека, отчего по спине расходились колкие мурашки, будоражащие начинавшее дремать сознание. Он не давал себе спать, потому как знал, что отрады в сновидениях ему не найти – тусклые и мерклые, они не принесут облегчения, а поглотят его ещё большей тоской воспоминаний, ещё большей тоской одиночества. Он растёр влажные от солёных ручьёв щёки и бездумно замер до утренней зари неподвижным изваянием, бесчувственный

к ласкам последних лучей солнца.

Глава 11. Со дна

Никто не ожидал его возвращения. Пovýлезший из лагун народ с изумлением наблюдал за перемещением человека по поселению; тот кидал равнодушные взгляды на людей, неспешно продвигаясь по одному ему известному направлению. Кто-то из толпы, начинавшей потихоньку окружать путника, наклонился к земле за камнем и, метаясь в затылок человеку, метнул его. Со свистом камень пролетел мимо человеческих голов и, не достигнув цели, угодил случайному прохожему в спину. Человек бросил безучастный взгляд на своего недоброжелателя: глаза сверкнули минутной ненавистью, на что поселенец ответил тем же. Он хотел было ещё что-то крикнуть путнику, но чья-то рука крепко ухватила его за шиворот балахона, схожего с тем, что прежде по милости старика носил человек, – это был покалеченный камнем прохожий. Он с силой приложил недоброжелателя об землю, да так, что на лице того не осталось живого, не запятнанного кровью места. Люди, заинтересованные потасовкой, поотстали от человека. Тем временем путник скрылся из глаз. Последний, кто видел его, сумел проследить, как человек свернул за двумя молодыми деревьями и, минув иссохшие заросли кустарника, не оглядываясь, юркнул в дверной проём жилища, где обитал хромой старик.

– Истиной, оказывается, я жил и нынче живу. Вот тебе

ответ, – громко продекларировал человек и развернул перед оторопевшим стариком помятый лист пергамента, оборванный и запачканный по краям, но целый в основе. Старик как-то весь сконфузился, затрясся телом и настороженно отполз от человека в дальний угол лачуги. Человек сделал вопросительный жест.

– Чего ты боишься?

Тут только он заметил в углу небольших размеров свёрток. Под узлами туго замотанной тряпки сопело и шевелилось нечто живое, хрипело, кашляло. Человек сделал несколько шагов – старик в страхе кинулся к свёртку, прикрывая его своим дряхлым немощным телом. Надменный смех огласил жилище. Человек смеялся, обхватив руками впалый живот; юродивый испуганно косился на него, теребя пальцами тряпку. Насупив брови, он старался не выказывать страха, но весь его вид говорил об обратном. Капли испарины выступили на морщинистом лбу.

– Беспокоишься о ребёнке? Или всё же о себе? Ну да не стоит об этом, хоть я и разочарован в тебе, твоей стойкости: да, я не ошибся, её попросту нет. Видимо, каждый из нас жалок по-своему. Не так ли? О, в каждом из нас трагедия; это трагедия жизни, трагедия одинокого, покинутого существования, кое мы стремимся заполнить сущей несурaziцей, тогда как стоит обратиться... – человек замешкался. – Я думаю, это станет яснее из моего сочинения.

Сквозь щели в стенах, сколоченных из трухлявой, кое-где

подгнивающей древесины, пробивались еле ощутимые лучики света; большая часть лачуги тонула в полумраке. Нащупав в темноте листок, старик потянул его к себе, подслеповато щурясь единственным здоровым глазом. В нос ударил кислый запах чернил. Он потянул ноздрями воздух, дрожащими пальцами зажёл свечу, поставил её около листа: бумага заблестела, обнажая заглавие сочинения: «Трактат человека».

Над пергаментом склонились две головы. Ниже всех пригibasь плешивая седенькая головка, из-под которой торчал конец горбатого носа. Темя её было изъедено временем, в центре макушки значилась плеяда тёмных старческих пятен. Нос касался практически самого пергамента: владелец головы был слеп, ему приходилось приклоняться чересчур низко, чтобы разглядеть мелко выведенные на листе буквы.

– Признаюсь, это нелегко, – говорил человек. – Отчаяние не раз погребало меня под обломками моих собственных надежд. Иной раз казалось, что вечность истекла, – он указал на рубцеватый затянувшийся шрам в боку, зло осклабился, – вздор! Её у меня с избытком.

Настал час расплаты за содеянное^[7]: у горла старика блеснуло лезвие; острый стальной клинок концом упёрся беспомощному в кадык, сдавил, не позволяя вздохнуть. Любое движение повлекло бы печальные последствия. Каждый вздох мог стоить ему жизни.

Из угла донеслись звуки возни: свёрток зашевелился. Там,

не отвлекаясь на суету в лачуге, сладко посапывал малютка. Он перебирал маленькими ножками и тяжело, прерывисто дышал, изредка сбиваясь на болезненный хрип. Изпод тряпки выбивались его детские кудрявые волосы, отличающие чернотой. Сердце человека невольно переполнилось чувством жалости – нет, не к ребёнку! – к немощи старика. Коль скоро он живёт этим дитём, конец его близок; так к чему отнимать остаток жизни, хотя бы и не ценимой стариком, глухим к её призывам, но всё-таки данной в обладание непосредственно *ему*?

«Не мне судить его», – решил человек и убрал от шеи несчастного лезвие – тот облегчённо выдохнул, содрогнувшись всем телом.

– Я достиг вершины. Теперь, – обессиленный путник прилёг у стенки лачуги, прижавшись к ней спиной, – мне следует забыться. Хотя бы на короткий срок...

Вскоре он заснул крепким беспробудным сном, в то время как взбалмошные глаза старика бегали по пергаменту в попытке проникнуться чужой мыслью, пережить, обрести веру того, кто взвалил на себя бремя неизбывного одиночества.

День, на удивление, выдался промозглым. Не было прежней невыносимой духоты, одолевавшей людей, забиравшей их последние силы; среди горных масс, вдоль песчаных троп гулял освежающий ветерок, пришедший с дальних морей.

Он разгуливал меж иссушенных дряхлых деревьев, убаюканных нежным теплом солнца – так зачастую ненастье, прежде играющее супротив нас, проявляет снисхождение, даруя на мгновение покой. Уходят все невзгоды – листва зеленеет, пропитанная живительной влагой; вздыхает и человек, полной грудью вздыхает, выходя из полумрака лачуги, поднимается со дна, где прозябал всю жизнь. Всё ясно для него, отчётливо и разборчиво предстаёт перед ним; всё покорно, и всё возможно. Не раз ему ещё придётся оступитья, пасть и ползти – мгновение покоя кратко и обманчиво – прежде чем возвратятся былые силы.

Трактат человека

П. 1 (Пункт 1). Что есть Я?

Я чувствую холод. В первую очередь, Я есть чувство.

Я облакаю чувство в форму. Я не просто чувствую – Я [со]знаю своё чувство. Я мыслю своё чувство (осознанно переживаю), а значит, Я есть мысль.

П. 2. Я есть?

Долго и внимательно я наблюдаю за своей мыслью. Наблюдение также есть мысль. Обнаруживая свою мысль мыслящейся, я становлюсь сторонним наблюдателем, вззирающим на самого себя. С позиции наблюдателя я могу доказать наличие мысли. Значит, мысль есть. Если есть мысль, есть Я^[8].

П. 3. Есть ли что-либо, кроме Меня?

Моё чувство, облечённое мыслью, вызвано чем-то извне, иначе бы моя мысль была причиной самой себя и исходила бы также от себя, что, по моей логике, ложно, поскольку она является обликом чувства, которое отражает объект внешней действительности, как, например, земля даёт мне чувство холода.

Но вполне возможно, что я заблуждаюсь, и разум обманывает меня, подтасовывая карты и подсовывая мне внушение, т. е. самовнушение, заменяя им истинное чувство объекта. В таком случае стоит склониться к выводу, что чувство холода земли может быть ложно, но сама сущность, иначе *идея* чувства^[9], истинна, как истинна моя мысль, действительность которой я разъяснил в п. 2. Отсюда следует, что существует извне Что-то, наделяющее меня идеей *чувства* как такового, т. е. моей же собственной мыслью, к которой я пришёл через [со]знание идеи чувства холода земли.

П. 4. Что есть Что-то?

Если из Чего-то проистекает идея чего-либо, становящаяся моей мыслью, которая, в свою очередь, является выражением Меня самого, т. е. Мной самим, значит, через это Что-то Всё, в его абсолютном значении, начинает быть. Что-либо в этом случае есть частный случай Всего, как чувство холода является частным случаем чувства как такового вообще, а чувство, в свою очередь, – частным случаем чего-либо большего, и т. д. вплоть до Всего.

П. 5. Что Меня отличает от Чего-то, и что Меня отличает

от Всего?

Следуя п. 2 и п. 3, с точки зрения стороннего наблюдателя, Я есть такая же идея, как и Что-либо прочее. В таком случае Я являюсь частицей Всего, его частным случаем, как следует из п. 4. Но в то же время этим наблюдателем являюсь Я сам, т. е. постигаю себя как идею в самом себе же. Значит, идею самого себя я, в первую очередь, даю сам себе и вместе с тем являюсь частицей Всего (т. е. идея Меня как части проистекает из Всего, т. о. выражая Что-то – как мы увидим далее), которое, как я объяснил в п. 4, начинает быть через Что-то. Вследствие этого можно сделать вывод, что Я есть некое Что-то в качестве частицы Всего (т. е. в качестве Чего-либо). Но Я не абсолютное Что-то, поскольку единственно через идеи (точнее ту или иную идею) Чего-то начинаю быть.

Значит, Я есть непосредственное проявление, или же *выражение* Чего-то во Всём (т. е. в качестве части Всего).

П. 6. Есть ли Кто-либо, кроме Меня?

Поскольку я не абсолютное Что-то, через которое начало быть Всё, а лишь непосредственное выражение Чего-то и идея во Всём, значит, *могут быть*^[10] и прочие (сторонние для Меня) Кто-либо, выражающие Что-то в качестве частицы Всего.

П. 7. С какой целью Кто-либо выражает Что-то во Всём?

Кто-либо непосредственно выражает Что-то в качестве *идеи* этого Чего-то посредством идеи Чего-либо^[11] Всего. Кто-либо есть следствие Всего (п. 4), фиксирующий идеи Че-

го-то через самого себя^[12] (п. 2), значит, через выражение Чего-то (п. 5). Таким образом, идея Чего-то фиксируется и познаётся через выражение Чего-то, т. е. в своём выражении – в Ком-либо.

Примечания

В наше время весьма мала вероятность встретить серьёзную научную работу без опоры на тексты уже имеющихся трудов мыслителей, философов и пр. Потому (в равной мере и для того, чтобы читатель лучше усвоил материал) было принято решение поместить в конец повести примечания, поясняющие некоторые аспекты мышления и поведения представленных в произведении героев.

[1] Рассматриваемый с точки зрения единичного экзистирующего индивида (см.: Экзистенциализм).

«Выделив в качестве изначального и подлинного бытия само переживание, экзистенциализм понимает его как переживание субъектом своего «бытия-в-мире». Бытие толкуется как непосредственно данное человеческое существование, как экзистенция...» (Философский энциклопедический словарь. – Москва, 1983. С. 788)

[2] «И нарёк человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым...» (Быт. 2:20).

[3] Подразумевается то, что открылось человеку в пору его вторичного пребывания на дне пропасти (см. главу 4). Подробное описание откровения содержалось в первоначальном варианте произведения. Спустя время было принято решение убрать этот фрагмент из текста.

[4] «...Противоположное отчаянию – это вера... обращаюсь к себе самому, стремясь быть собой самим, моё Я погружается через собственную прозрачность в ту силу, которая его полагает» (Кьеркегор С. Болезнь к смерти / пер. с дат. Н. В. Исаевой, С. А. Исаева).

[5] См. главу 7.

[6] Для Кого-либо в его единственно возможном субъективном восприятии (см.: глава 11, п. 7).

[7] См. главу 3.

[8] «...Следует признать, что утверждение «аз есмь», «я существую», с необходимостью будет верным всякий раз, когда оно высказывается мной или занимает мой ум» (Декарт Р. Размышления о первой философии / пер. М. Позднева).

[9] Разъяснению этого термина стоило бы посвятить отдельное эссе, однако, в целях сохранения целостности произведения и опасаясь излишней многословности по отношению к настоящему трактату (чего он совершенно не требует, исчерпывая свою мысль в семи коротких, но ёмких пунктах рассуждения), автор поместил его в раздел примечаний.

С античных времён понятие *идеи* употреблялось философами в значении первосущности, умопостигаемого образа вещей и их отношений: так называемые "подлинники" предметов спекулятивных знаний, этики и пр. противоположны чувственности, препятствующей их познанию и осмыслению. Мы видим, что идея (в классическом понима-

нии) – идеальна и представляет исключительно мысленный образ. "Под идеей я разумею такое необходимое понятие разума, для которого в чувствах не может быть дан никакой адекватный предмет" – пишет Кант в своей фундаментальной работе (см.: Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. О. Лосского), таким образом определяя понятие идеи не только для своей, во многом отличной от прочих системы, но и для всей мировой философской мысли вообще. Идея – в предмете мышления, мыслимая вещь, подчинённая априорному, т. е. внеопытному знанию; она отражает идеал созерцательного объекта.

Надеюсь, после данного выше объяснения меня не осудят за неверную трактовку понятия, видоизменённого в моём рассуждении, и мы сможем, наконец, приступить к его актуальному толкованию.

Действительно, я не мог отказаться от столь ценного термина, как "идея", поскольку в "Трактате человека" она есть также мыслимая сущность. Разница заключается в следующем: это мыслимая сущность моего внутреннего чувственного опытного состояния, отражающего в то же время и истинный, мало познаваемый первоисточник состояния. Осознанно переживая то или иное собственное состояние, я имею и осмысляю и его идею: идею не предмета, а переживания, чувства. Я мыслю свою суть, а не внешний источник (предмет), который может мне быть дан в искажении из-за моего образа мышления (а не из-за чувственности, что нема-

ловажно отметить здесь). В каждое новое мгновение я переживаю и помышляю переживаемое. Таким образом, я мыслю и *имманентный* источник – в том смысле слова, в котором употреблял его Спиноза, т. к. источник проявляет себя как умопостигаемая внутренняя причина, – выражающий его во мне; тут уже есть смысл сослаться на дальнейшие пункты трактата, в которых это вполне подробно описано.

[10] «То, что всё познаёт и никем не познаётся, это – субъект. Он, следовательно, носитель мира, общее и всегда предполагаемое условие всех явлений, всякого объекта: ибо только для субъекта существует все, что существует. Таким субъектом каждый находит самого себя...» (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / пер. с нем. Ю. И. Айхенвальда).

[11] Тут стоит отметить важное различие, которое может быть не столь ясным из текста: идея (чьа?) Чего-то, но идея (чего?) Чего-либо. Первое обозначает принадлежность и происхождение идеи, второе – то, что идея воплощает.

[12] «Оно чрез меня кричит...» (см. главу 10).